

АННА ГЕРМАН

ГИМН ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ
ЛЮБВИ



Сокровенные мемуары

Анна Герман

Гимн торжествующей Любви

«Яуза»

УДК 784.3.071 Герман А.

ББК 85.364.1 Герман А.

Герман А.

Гимн торжествующей Любви / А. Герман — «Яуза»,
— (Сокровенные мемуары)

ISBN 978-5-9955-0924-0

«Любовь долготерпит, милосердствует, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине...» Последнее, что сделала Анна Герман в своей жизни, — написала музыку на этот Гимн Любви апостола Павла: «Любовь не завидует, любовь не превозносится, всему верит, всего надеется, все переносит...» И таким же Гимном Любви стала данная книга. Это — неофициальные мемуары великой певицы, в которых она вынуждена была промолчать об очень многом (о немецком происхождении своей семьи, о трагической судьбе отца, репрессированного и расстрелянного в 1938 году, о своей дружбе с будущим Папой Иоанном Павлом II). Это — исповедь счастливой женщины, в жизни которой была настоящая Любовь. Ее любимый предложил Анне руку и сердце, когда врачи отказывались верить, что она будет ходить после страшной аварии (49 переломов, тяжелейшая травма позвоночника, полгода в гипсе, более трех лет она не выходила на сцену). Ее муж был с ней «и в горе, и в радости», и в счастливые годы ее громкой славы, и в трагические дни, когда, узнав о своей смертельной болезни, она решила писать эту книгу. И написала ее так же, как пела, ни в ее «золотом голосе», ни в этой последней исповеди нет ни единой фальшивой ноты, ни гнева, ни отчаяния — лишь Гимн торжествующей Любви.

УДК 784.3.071 Герман А.

ББК 85.364.1 Герман А.

ISBN 978-5-9955-0924-0

© Герман А.

© Яуза

Содержание

Я не вернусь в Сорренто	8
Авария	11
Певица Анна Герман. Трудный нетрудный выбор	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Анна Герман

Гимн торжествующей Любви



Фотография на обложке, суперобложке и контртитule *Рыбаков* / РИА Новости

Я не вернусь в Сорренто

«Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».
«Гимн любви» из Первого послания коринфянам апостола Павла

Вот что надо петь, обязательно надо. Почему никто не спел до сих пор?

Эти записи не продолжение «Вернись в Сорренто?». Ту книгу я писала, едва придя в себя после автокатастрофы, как ответ на многочисленные письма с пожеланиями выздоровления после страшной аварии, словно доказывая, что уже что-то могу. Тогда казалось очень важным вспомнить каждый свой шаг в Италии до аварии и после нее, словно самой себе показать, что я справилась.

Прошло больше десяти лет, кроме того, тогда я знала, что от меня зависит, встану или не встану на ноги, буду или не буду петь. Знала, что если перенесу невыносимую боль, сумею справиться с непослушными мышцами, подчиню себе свое тело, собранное по кускам, то выйду на сцену.

Удивительно, тогда врачи твердили в один голос: «Положение безнадежное», потом: «Ходить, возможно, будет, петь нет, на сцене не будет...» А я верила, что буду. Сказать, что это просто уверенность молодости, нельзя, мне тридцать второй год, не ребенок.

Сейчас, наоборот, медсестры пытаются бодро уверить: «Пани Анна, вы еще споете», а я знаю, что нет. Знаю, что не спою, не выйду на сцену, к микрофону в студии записи. Сама себе дала слово, что если все же выкарабкаюсь, то буду петь только в храме, как когда-то обещала бабушке, но обещание не выполнила. Но, скорее всего, и этого не будет.

Просто после аварии мне свыше были даны еще десять лет, относительно «здоровых» лет, если можно назвать физическим здоровьем переломанные кости, собранные на штырях, непрекращающиеся восстановительные упражнения и постоянную физическую боль. Я забыла, что значит «не больно», и если со стороны мои движения не выглядят движениями дряхлой старухи или робота, значит, удастся обманывать всех вокруг, потому что каждый шаг, каждый жест до сих пор вызывают боль. Просто я научилась перебарывать ее, свылась, загнала в тайные уголки, не позволяя показываться на глаза.

Правда, я не могу плясать на сцене, не делала этого и до аварии, но раньше хотя бы размахивала руками, теперь и это невозможно. Все познается в сравнении, это так. Сейчас даже жизнь с постоянной болью и преодолением этой боли кажется просто прекрасной, но подходит к концу и такая.

Говорят, что рак не любит света и воздуха. Напротив, очень даже любит, стоит начать операции, если стадия не начальная, как раковая опухоль, получив свою порцию света и воздуха, начинает разрастаться очень быстро. У меня началась череда операций, значит, конец близок.

Нет, не дело, получается слишком плаксиво, слезливо, жалостливо, а я никогда не любила, чтобы меня жалели. Даже сейчас жалость не нужна. Я не справлюсь, уже знаю, что не справлюсь, на сей раз судьба возьмет верх, но только физически, морально не сдамся. Боль — это внешнее, это физическое, а есть еще душевное и духовное, вот в этом я сумею победить.

Десять отвоєванных у судьбы лет не прошли зря, я стала настоящей певицей, родила сына и подружилась со столькими замечательными людьми! Хотела, чтобы на мои концерты ходили

не из любопытства или жалости, не посмотреть на собранную по частям куклу, которая умудряется еще и петь, чтобы интересовались мной не как восставшей из пепла жертвой страшной катастрофы, а потому что нравятся мои песни, и добилась этого.

А то, что болезнь снова берет верх и теперь мне ее не победить, только добавляет ценности каждому оставшемуся дню, часу, минутке...

И сейчас мне важнее не что было в моей жизни, а почему было, не как происходило, а зачем. Человек приходит в эту жизнь, чтобы чему-то научиться – любви, доброте, умению прощать и помогать, умению просто радоваться каждому новому дню, каждой прожитой минутке. Обидно, что человек понимает это только тогда, когда минуточек остается невыносимо мало. И даже такое понимание на последних минутах дается, кажется, не всем.

Это тоже счастье – понять, зачем жила, зачем была, что должна была сделать и все ли сделала.

Меня то охватывает настоящее отчаяние, потому что почти ничего не успела, многое делала не так, как надо бы, то наплывает преступное безразличие, теперь уже ничего не успею, но все яснее пробивается другое: я должна еще совершить что-то очень важное, что до сих пор упустила. Должна успеть понять, что именно, и сделать это, иначе покоя не будет даже после смерти.

У человека внутри всегда есть понимание того, правильно или неправильно поступает, а еще, есть ли у него будущее. Любой самый безнадежный момент не безнадежен, если внутри есть вера в то, что это не конец. И наоборот, можно посреди внешнего благополучия вдруг почувствовать, что... дальше ничего нет.

Благополучия не было, как бы я ни держалась на сцене, ни делала вид, что все хорошо, организм после аварии не восстановился, постоянно болело все, переломанные кости реагировали на любое изменение погоды. Все труднее становилось улыбаться сквозь боль, улыбка бывала похожа на застывший оскал.

Сейчас остается только надежда, что после операций, удаляющих и удаляющих какие-то части моего организма (как когда-то добавляли и добавляли металлические штыри и болты, чтобы скрепить переломанные кости), все же останется хоть что-то, кроме этих железок, что позволит бывшей Анне Герман хотя бы сидя петь в церкви, в измученном, переполовиненном теле останется голос. Мне большего не надо, только видеть, как растет Збышек, и петь, пусть не на сцене и даже не перед микрофоном на записи, просто петь для людей и для себя тоже. Но, кажется, не будет и этого. Рак безжалостен, слишком мало тех, кого он выпускает из своих смертельных объятий.

Сейчас я при малейшей возможности напеваю на магнитофон, сил наигрывать на пианино уже нет, но голос еще слушается, проклятая болезнь не затронула его. Наверное, это единственное, что мне осталось – голос и слух. Даже когда от боли отказывала память и способность думать, оставался голос.

Все больше мучает вопрос: что же я не доделала, что не завершила, из-за чего меня «не отпускает»? Временами боль нестерпима и кажется, что уход из жизни был бы избавлением от мучений, но я снова и снова возвращаюсь к жизни, если мое состояние можно таковой назвать. И тогда возвращается этот вопрос. Вот решу его и уйду спокойно.

Мне будет нетрудно уйти, но только после того, как пойму что-то очень-очень важное для себя и своих близких.

Проклятая болезнь ограничила все возможности, я не могу подолгу писать, даже думать подолгу не могу, остается тихонько напевать. Наверное, со стороны это выглядит сумасшествием – глушить невыносимую боль пением, но это единственное обезболивающее, которое мне осталось, другие не помогают.

Хватит жаловаться и стонать, так можно растратить последние силы, их осталось совсем немного, и они мне еще нужны.

Я жива, значит, я пою, я пою, значит, я живу! Пусть даже тихонько-тихонько, почти шепотом, на магнитофон или вообще для себя.

Удивительно, но оказывается, и молитвы можно петь, от этого они становятся проникновенней. Я отдаю Господу последнее, что у меня есть – мой голос, наверное, это нужно было делать раньше, но все случилось, как случилось, теперь не исправишь.

Это не книга воспоминаний. Я хочу и не хочу вспоминать свою жизнь.

Хочу, потому что в ней есть два моих любимых Збышека – сыночек и муж (вот как, маленький уже опередил большого!), есть мама, была бабушка, были и есть десятки умных, добрых, хороших друзей и просто знакомых, тех, кто мне помогал, поддерживал в труднейшие минуты и радовался моим радостям. В ней есть песня – моя любовь на всю жизнь.

Збышек-старший сделал все, чтобы я могла петь, он пожертвовал собой ради меня, моих песен. Я не могла назвать сына иначе как именем его папы.

Збышек-младший не любит, когда я пою колыбельную, требует «лучше про паровоз», вообще недолюбливает мои вокальные упражнения, просто потому, что когда мама начинает петь, это значит, скоро уедет. «Ля-ля-ля» для Збышека с самых первых дней сигнал о скором мамином отсутствии, а потому радости вызывать не может. Я очень боюсь, что у сына останется негативное восприятие песен, это плохо.

Обидно, что не увижу взросление своего сыночка, не увижу, каким он станет красивым юношей, не познакомлюсь с девушкой, которую приведет в дом, не понянчу его детей... Збышек обязательно будет стройным и видным парнем, он красивый мальчик, и у него будут красивые дети... Я немного завидую Збышеку-старшему именно из-за того, что он когда-нибудь возьмет в руки теплый комочек – сына нашего Збышека (или дочку), а малыш улыбнется дедушке беззубой улыбкой.

Это очень больно – уходить в сорок шесть лет, когда у тебя еще маленький ребенок, понимая, что оставляешь столько проблем и забот родным людям...

Авария

Любые мои воспоминания, любой рассказ о моей жизни, любой серьезный разговор обо мне (даже если с сыном и на будущее) нужно начинать с нее – проклятой автокатастрофы, которая разорвала, искромсала мою жизнь.

Она не просто поделила жизнь на «до» и «после», а действительно изуродовала все. Даже сейчас, почти через полтора десятилетия, я погибаю от последствий той страшной ночи. Это как бежать по залитому солнцем и покрытому цветами лугу и вдруг упасть со всего размаха и очутиться в страшной темноте.

Именно так и было.

И с 1967 года по нынешний день я постоянно, ежедневно, ежеминутно доказываю всем и себе, что я справилась, что почти здорова, что сумела победить боль и преодолела все преграды, которые на моем пути выстроила жестокая судьба.

Не сумела, боль всегда была со мной и легкость, с которой я какое-то время держалась на сцене или у микрофона в студии давалась неимоверными усилиями, огромным количеством обезболивающих лекарств и капельками пота на висках.

А теперь судьба и вовсе взяла верх, не сумев сломить меня, устроив 49 переломов, в том числе позвоночника, она зашла с другой стороны. Рак... И надежды больше нет, нет компаса земного, никуда он меня больше не поведет.

И останется маленький Збышек наполовину сиротой...

Да, у него очень добрый и заботливый папа Збышек (я знаю, что Збигнев-старший прекрасный отец и со всем справится), бабушка Ирма, мои друзья не бросят, не оставят без помощи, но мамы у него не будет. Никто не споет ему больше мою «Колыбельную», которую он, кстати, не очень-то и любит. Я росла без отца, но для военного и послевоенного времени это было почти нормально, во всяком случае, привычно, а вот без мамы... Не представляю, как могла бы прожить без своей дорогой мамы Ирмы.

Что во всем виновато, в том, что я ухожу так рано, что поздно родила Збышека, что не смогла ему дать то, что дала бы мать в обычной семье?

Что тому виной, проклятая авария?

А в аварии что или кто виноват?

Я всегда думала, что Ренато, заснувший за рулем на скорости свыше ста пятидесяти километров в час. Конечно, он виноват, но почему-то он остался цел, а пострадала только я. Почему его судьба его сберегла, а моя меня наказала? Разве это не знак свыше?

Я справилась, но, как оказалось, только на время. Я ни на секундочку не жалею о том, что делала все эти годы после аварии, но сейчас все чаще думаю, что делала что-то не то или не так, или просто не совсем так.

Однажды услышала фразу, что судьба забирает молодыми самых лучших и талантливых, чтобы уходили на взлете, а не на спуске. Разве что утешиться этим... Слабое утешение, потому что умирать в сорок шесть не хочется ни талантливым, ни бесталанным (я считаю, что бесталанных вообще не бывает, есть только те, кто не смог определить свой дар или не рискнул развить его вопреки жизненным условиям или преградам).

Впервые в Италии я побывала задолго до аварии, когда получила стипендию Министерства культуры и искусства Польши на два месяца стажировки в Риме.

Учиться в Италии... что может быть заманчивей для певицы, тем более не имеющей никакого певческого образования, кроме исключительно талантливых уроков исключительно талантливого педагога пани Янины Прошовской.

О, Италия чудесная страна, а итальянцы замечательные, хотя и несколько излишне импульсивные (мое сугубо личное мнение) люди. Но быстро выяснилось, что, как стажировать польскую эстрадную певицу, не имеющую ни одной «лишней» лиры, да и тех, что есть, для нормальной жизни в итальянской столице явно недостаточно, не знает никто. Оперных стажировали в том же «Ла Скала», эстрадным, конечно, могли давать уроки вокала, но платно, что для меня было невозможно.

Я так и не поняла, зачем министерство отправило меня в Рим, потратив, пусть и небольшие, но все же деньги. Может, надеялись, что, оказавшись в Риме, я переметнусь в оперу? Но для этого нужно куда более серьезное вокальное образование, многие эстрадные певцы не имеют никакого, едва знакомы с нотной грамотой, даже мелодии учат на слух, в опере такого нельзя, там никто не станет напевать арию, чтобы ты выучила.

Но дело не в том, я с нотной грамотой знакома, однако опера не мое. Интересно, как представляли в министерстве двухметровую каланчу на оперной сцене? Что я могла петь? Только Дездемону в последнем акте, лежа в кровати и подогнув ноги, чтобы за них не цеплялись за кулисами.

Тем более мне больше нравится эстрада, нравится репетировать и исполнять именно песни, видеть реакцию зрителей после каждой, слышать их реакцию (аплодисменты или редкие хлопки из вежливости, что тоже реакция).

Сначала Италия показалась сказкой, хотя я уже бывала там со студенческой делегацией. Но неделя под строгим приглядом и по строгой программе, где с получасовыми перерывами чередовались посещения музеев, встречи и дискуссии со сверстниками (все через переводчика), лекции по истории великолепной Италии, оставила ощущение только сумбура. Мы мало что запомнили, не сумев побывать ни в одном театре (Колизей был запланирован, «Ла Скала» и вообще Милан в обязательную программу не входили).

Теперь я надеялась не просто посетить знаменитый театр, но и хорошенько поучиться петь у итальянских мастеров эстрады, где же учиться петь, неважно оперному певцу или эстраднему, как не в благословенной Италии? А то, что мы должны лететь вдвоем с Ханной Гжесик из Люблина, искусствоведем, реставратором, которой тоже предоставили стипендию для стажировки на целых четыре месяца, делало поездку еще заманчивей. Ханна прекрасно разбирается в искусстве, она подскажет мне, что и где посмотреть, да и вообще, жить одной в чужом городе, чужой стране, плохо зная язык, трудно.

Ханна тоже обрадовалась моему обществу, вдвоем всегда легче. Это так, окажись я в Риме одна с той крошечной суммой, которая имелась в распоряжении, вернулась бы в Польшу первым обратным рейсом, а если не хватило бы на билет, отправилась пешком через горы и долины.

Наверное, имей мы достаточно средств, стажировка действительно оказалась бы стажировкой, но с теми крохами, что сумело выделить министерство, два месяца превратились в простое пребывание в Италии.

Мы с Ханной как могли поддерживали друг дружку, это немаловажно, когда у тебя просто нет денег и друзей в чужой стране. Началось с того, что нас никто не ждал, чиновника, к которому следовало обратиться мне, просто не было на месте. Он не обязан сидеть и ждать, когда приедет начинающая певица из далекой Польши, чтобы заняться непонятно чем в Риме. У синьора много дел и без польки.

Решив, что Ханне обязательно повезет больше, мы отправились разыскивать ее организацию. Это оказалось не так легко и удалось только к вечеру. Но и ее чиновника на месте не оказалось, правда, его обещали быстро вызвать. Мы не подозревали, что такое у итальянцев «быстро».

Для чиновника оказалось вполне нормальным уехать домой на обед и не вернуться. И правда, не обязан же и он сидеть в ожидании страдалец из Польши? Близился вечер, деваться

было просто некуда, разве что заночевать прямо у какого-нибудь фонтана. Мы мрачно шутили, что первые же сутки в Риме закончатся для нас в полиции.

– Зато там тепло и наверняка накормят ужином, – вздыхала Ханна.

Она не привыкла не ужинать. Для меня это не было проблемой, потому что нормально кушать во время гастролей практически не удавалось, мой желудок не протестовал, но одно дело остаться без ужина, и совсем другое – без ночлега, мы действительно могли попасть в полицию, тогда не то что в Италию, в соседний город больше не выпустят.

Я мысленно клялась себе никогда больше не совершать никаких зарубежных поездок не в составе какой-то большой группы. Пусть лучше галопом, пусть все из окна автобуса (знать бы мне, что накликаю – следующая поездка такой и окажется, я все буду видеть из окна автомобиля), но только организованно, чтобы не дрожать от страха, сидя на скамейке в Риме без денег и крыши над головой.

– А может, нам в польское посольство отправиться?

Верно, как мы могли забыть о существовании польского посольства в Риме?! Сразу полегчало, не испугал даже следующий вопрос: где оно находится.

В конце концов, можно спросить у полицейского.

Разыскивать посольство не пришлось, приехал чиновник, в ведении которого должна проходить стажировку Ханна, изобразил полнейший восторг при виде двух перепуганных и голодных польских девушек и в качестве компенсации за перенесенные страдания вызвался лично принять участие в поисках комнаты для нас.

Это было хорошее предложение, потому что денег ни у меня, ни у Ханны просто не имелось, оплатить проживание в съемной комнате за месяц вперед, как требовали хозяева, мы не могли, следовательно, нас никто не пустил бы даже на ночь.

Но, видно, чиновник не раз приводил постояльцев к синьоре Бианке, та приняла нас, безоговорочно поверив, что «деньги будут завтра». Интересно, на что рассчитывал синьор начальник, давая такое клятвенное обещание хозяйке квартиры, в одной из крохотных комнатусек которой мы поселились, ведь он мог говорить только о деньгах Ханны, а ей стипендию выплачивали очень нескоро.

Выручила моя стипендия, мне выделили целых шестьдесят тысяч лир, что оказалось сущими грошами. На эти деньги можно было оплатить жилье и иногда автобус, но не больше. Продукты питания нам присылали из дома, если бы не эти посылки от мам, непонятно вообще, на что существовать. Интересно, знали ли в министерстве, сколько стоит жизнь в Риме, а если знали, то на что рассчитывали, выделяя такую «роскошную» стипендию. В Польше мы могли подработать, даже просто подметая улицы по вечерам, а в Италии?

Конечно, мы не голодали, даже смеялись, что такая жесткая диета пойдет на пользу нашей стройности. Но оказалось, что полуголодное существование (маме я в письмах старалась не говорить о недостатке питания, шутила, что все польское вкусней, а потому посылкам очень рада, а еще рассказывала, что итальянцы сплошь едят спагетти, которые мне противопоказаны, потому что поправлюсь) не самое страшное.

Отсутствие денег на транспорт или театры мы смогли пережить, но было то, что не исправить никакими решениями похудеть или вытерпеть.

В Риме зимой, конечно, не морозно, температура выше нуля, но большинство итальянских домов попросту не имеет отопления. Есть лишь камин, и те в хозяйских комнатах. Полы каменные, стены тоже, на улице промозгло, а дома изо рта шел пар. И вода в кранах, в том числе и в ванной, только холодная.

Синьора Бианка относилась к нам неплохо, но в ее обязанности квартирной хозяйки вовсе не входило греть воду для двух неприкаянных полек, достаточно того, что она изредка позволяла нам приготовить что-то горячее.

Постепенно к первой части фразы «жизнь прекрасна» добавилась вторая – «дома».

Мы дружно заболели, красные и хлюпающие носы, а также температура не способствовали хорошему настроению. Подбадривая себя тем, что трудности способствуют закаливанию не только организма, но и воли, мы обзавелись теплыми носками (единственный «сувенир», который я позволила себе в Италии) и стали ложиться спать в одежде, а умываться, лишь слегка плеская в лицо ледяной водой.

– Ханна, как ты думаешь, полярники во время путешествий сильно зарастают грязью? Я хочу сказать, не будут ли видны наши немытые шеи уже через неделю.

Вопрос весьма актуальный, потому что мы прибыли в Рим вовсе не для того, чтобы сидеть в комнатке у синьоры Бианки, стуча зубами от холода, следовало действительно стажироваться.

Мы бы с удовольствием уходили из своего «холодильника», потому что в официальных помещениях было куда теплей, чем дома, только куда? Ханне занятие нашли, она все же прекрасный реставратор и позже даже участвовала в реставрации зданий во Флоренции, а вот куда пристроить эстрадную певицу, не знал никто.

Теоретически я была «приписана» к «Радио Италияно», Карло Бальди, который шефствовал надо мной, сама любезность, но узнав, что я без гроша, был серьезно озадачен. Дело в том, что любые вокальные занятия стоили безумных денег, притом что выделенной стипендии едва хватало на оплату жилья. Никто из коллег синьора Бальди тоже ничего придумать не мог, Италия, конечно, песенная страна, но бесплатно учиться можно, лишь слушая вокализы на улицах.

Все, что могли сделать для меня бесплатно очень доброжелательные синьоры – показать «кухню» звукозаписи, то есть работу своих организаций изнутри. Прекрасно оснащенные аппаратные, отличные студийные помещения, блестящие специалисты своего дела, у которых я попросту болталась под ногами, страшно мешая... Несколько облегчили задачу улыбчивым синьорам две вещи: мои простуды и забастовка работников радио и телевидения. Они не были против, когда я пропускала какие-то дни из-за болезни или уходя вместе с подругой на экскурсии по музеям. У Ханны имелся пропуск, по которому нас пропускали обеих, бурно радуясь тому, что «юные польки интересуются настоящим искусством». Юными мы не были, но не спорили.

Пожалуй, если бы ни Ханна с ее страстным желанием увидеть каждое мало-мальски приметное здание в Риме, то есть попросту весь Рим, я вернулась бы домой много раньше.

Когда я вернулась в Варшаву, чиновник, делая отметку в моих документах, покачал головой:

– Всем бы так везло... Чему научились?

Мне бы промолчать, а я усмехнулась:

– Ничему. Чтобы учиться в Италии, нужно платить, а моей стипендии едва хватало на жилье.

Бровь чиновника медленно поползла вверх, и я поняла, что рискую испортить отношения с министерством навсегда и уже больше никуда не поехать, кроме маленьких местечковых клубов.

– Но поездка была очень полезна с точки зрения освоения итальянского языка. А еще я посмотрела Рим!

Я ничуть не кривила душой, действительно за два прошедших месяца мой итальянский серьезно улучшился (мы с Ханной очень старались практиковаться в языке, даже между собой разговаривая по-итальянски, как бы ни хотелось перейти на польскую речь), и Рим я тоже посмотрела.

Чиновник кивнул:

– Ну вот, а вы говорите ничему.

Я решила все же внести ясность, чтобы следующие за мной стипендиаты не попались в ту же ловушку:

– В Италии учат скорее оперных певцов, чем эстрадных, а обучение вокалу там действительно платное.

Настроение у чиновника все же испортилось, он сердито буркнул:

– Без вас знаем.

Уточнять, зачем тогда меня отправляли, я благоразумно не стала.

И вот через два года, в 1966 году, когда у меня за плечами был уже серьезный опыт выступлений, гастролей и даже фестивалей (Сопот, Ополе, снова Сопот), раздался звонок, который я сначала приняла за розыгрыш, хотя говорили со мной по-итальянски.

Потом я еще опишу свои многочисленные поездки и участие в фестивалях, опишу, если позволит состояние здоровья, а пока все же Италия...

Мне предлагали трехгодичный контракт с миланской звукозаписывающей фирмой «Compania Discografica Italiana», причем предлагал не кто иной, как сам владелец фирмы синьор Пьетро Карриаджи. Через несколько дней он намеревался прилететь в Варшаву и приглашал меня подписать контракт.

Незадолго до того мне предложили контракт на запись пластинки западногерманской фирмой «Esplanade», который я все оттягивала. Что-то словно не пускало меня в ФРГ. Позже, закованная в гипс от макушки до пяток, имея предостаточно времени на размышления, я не раз думал о том, что было бы, решишь я на тот контракт с немцами. Записала бы пластинку, снова ездила на гастроли, выступала на конкурсах, готовила новые программы, жила нормальной жизнью без боли и отчаянья.

Но я выбрала Италию с ее музыкальной культурой.

К тому же синьор Карриаджи так расписывал сказочные условия моего пребывания в Италии и особенно работы с его студией, уверяя, что легче перечислить звезд, которые не записываются в его компании, чем тех, кто это делает (одно имя Марио дель Монако чего стоило!), что не купиться на эти посулы было невозможно.

Почему молчали специалисты «Пагарт», отвечавшие за заграничные гастроли польских артистов, непонятно. Они-то должны бы знать, что такие звезды, как Марио дель Монако, не работают ни с одной определенной студией, а за свои записи с такой небольшой компании берут огромные деньги. Потому синьор Карриаджи и не назвал больше ни одного имени, что их не было, на других дорогих артистов у маленькой фирмы просто не хватало средств.

Зато не очень опытная польская певица Анна Герман была им вполне по карману.

Я хорошо помнила свою предыдущую поездку, когда жила в холодной комнатухе и питалась посылками из дома, а потому, услышав, что будут созданы все условия и все организовано, решила, что это судьба посылает мне компенсацию за предыдущие холодные дни в Риме.

Кроме любви к Италии, ее музыкальности и желания стать известной и там, была еще одна причина моего согласия отправиться в Милан. Итальянцы предлагали хорошие деньги (по моим тогдашним меркам) и содержание, что давало возможность купить квартиру маме и бабушке во Вроцлаве (Варшава все равно мне оставалась не по карману).

Смешно, впервые в жизни я погналась за деньгами, это действительно так, потому что просто петь и набирать популярность можно и в Польше, и в СССР. Но гастроли и там, и там оплачивались не слишком щедро, фестивали вообще дело не доходное, а затратное, и предложение синьора Карриаджо казалось выходом из безвыходной ситуации.

Я спешу, потому что неясно, сколько еще смогу бороться за жизнь и просто писать, а потому то, что уже было описано в книге «Вернись в Сорренто?» можно пока не повторять,

когда-нибудь, если останутся силы, я попробую заново вспомнить свои забавные (и не очень) приключения в качестве «звезды» в Италии.

Жизнь звезды, особенно восходящей и не имеющей средств, не так уж заманчива и приятна, в ней очень много огорчений и даже унижения, и если бы не контракт с его штрафными санкциями, я вернулась бы домой еще раньше и не в гипсе.

Но об этом потом, а пока о самой аварии и о том, как ее пережить.

Скажу только коротко, что долгое время в Милане я не пела, а лишь позировала, фотографировалась и давала бесчисленные интервью. Даже шутила, что если бы не участие в конкурсе в Сан-Ремо, вообще забыла, что такое ноты. Зачем все эти интервью? Это была рекламная акция, меня сначала «поднимали в цене», объясняя итальянцам, что я самая певучая из певиц.

По мне так лучше бы просто петь, гастролируя даже по маленьким городкам, так меня услышали бы живьем, и сами поняли, певучая ли я.

Но я не имела права на споры с владельцем студии и сопровождающими, я вообще ни на что не имела права. Даже платья приходилось отстаивать почти с боем, спасал только мой рост, итальянки обычно гораздо ниже, а потому немыслимые наряды, которые мне подбирали в ателье и которые мне просто не шли, несмотря на всю их элегантность и экстравагантность (обычно больше второе), оказывались малы, коротки и потому неприемлемы. Как и обувь, ведь у меня 40-й размер, итальянки не носят таких больших туфель.

Это был бурный, очень бурный год. Я меньше гастролировала по самой Италии и куда чаще участвовала в разных конкурсах, съемках телепередач, даже фильма, получала награды и должна бы радоваться жизни. Я радовалась, но куда больше мне хотелось просто петь, не соревнуясь с кем-то, не пререкаясь с конференсье (бывало и такое, итальянцам часто не давал покоя мой рост), не тратя время и силы на околопевческую ерунду. Я пишу, не красясь и не демонстрируя свой альтруизм, я приехала в Италию ради заработка, какой уж тут альтруизм! Но мне действительно легче и приятней просто спеть, чем давать интервью, объясняя, как я стала певицей и как надеюсь, что мой польский акцент в итальянском не помешает слушателям понять неаполитанские песни в моем исполнении. Я хотела петь и приехала петь, а не демонстрировать достижения итальянских дизайнеров одежды, я не фотомодел, не умею изображать счастье, когда мысли заняты другим.

Потому когда, наконец, было разрешено делать то, ради чего я приехала в Италию, радости не было предела. Наконец-то! Мне все равно, велики ли залы, проводит ли съемки телевидение, много ли репортеров, я хотела петь и пела, причем перед особой публикой – неаполитанцами, например, теми, кто вместо первого крика берет несколько нот, а первое слово «мама» произносит напевая.

Итальянцы принимали меня прекрасно.

Мы возвращались после концерта в Форли. Небольшой городок, прекрасная, душевная публика, теплый концерт, даже не концерт, а общение с публикой, когда выступление проходит под открытым небом, а слушатели танцуют и подпевают, если песня понравилась.

Я должна была исполнить двенадцать песен, но сколько спела, не смогла бы подсчитать. Выступление началось в районе двенадцати ночи, обычно в таких случаях публика танцует, но тут танцы прекратились, все собрались ближе к эстраде и принялись подпевать. Просили исполнить песни Сан-Ремо, кто-то даже знал мои польские песни. Это было прекрасно!

Закончили около часа ночи, перепев все, что только можно. Хотелось из озорства исполнить, например, «Катюшу» или еще какие-то советские песни. Пожалуй, я бы так и сделала, но сопровождавший меня Ренато торопил:

– Достаточно, ты и без того слишком долго развлекаешь публику.

Как ему объяснить, что это не труд, не работа, это удовольствие – петь для таких отзывчивых слушателей и вместе с ними?

Я очень устала и надеялась хоть немного поспать, потому что утром нам надо отправляться в Милан, но не тут-то было. Оказалось, что гостиница в Милане уже оплачена, а оставшись до утра в местной, за нее следовало бы тоже платить. Такой лишний расход казался Ренато безответственным, и он решил ехать в Милан ночью.

Почему я не воспротивилась категорически, тем более зная, что он не спал и предыдущую ночь, потому что ездил к родным в Швейцарию? Понадеялась или просто не подумала об опасности.

Обычно Ренато экономил на всем, например на дорогах. Хорошие автостреды в Италии платные, и если можно объехать платный участок или вообще добраться куда-то бесплатно, пусть и разбивая машину, Ренато предпочитал не платить. Я пыталась намекнуть, что он больше теряет, гробя на плохой дороге подвеску автомобиля, но переубедить в чем-то итальянца дело невозможное, а потому бессмысленное. Поэтому оставалось только трястись по ухабам, мысленно чертыхаясь и стараясь не прикусить язык.

На сей раз Ренато поступил крайне непривычно, он выбрал автостраду, то есть платную дорогу. Вообще-то это спасло лично мне жизнь, потому что, случись авария где-то на малопроезжей дороге, нас могли бы не скоро заметить. А может, наоборот, ничего бы не случилось, убедившись, что ехать невозможно, Ренато просто остановил бы машину и мы прикорнули прямо в ней?

Не знаю, но случилось то, что случилось.

Я видела, что он сонный, клюет носом. Стало страшно, что, если заснет прямо на ходу, за рулем? Я была возбуждена после концерта, хотелось обсудить, что итальянская публика приняла меня, что все получается хорошо... Кроме того, болтая с Ренато и заставляя его отвечать, пусть даже односложно, я не позволяла ему дремать.

Самым разумным было бы все же остановить машину, потребовать, чтобы он прижался к обочине и хоть немного поспал. Почему я этого не сделала?!

Последнее, что я почувствовала – машину подбросило. Мелькнула мысль, что мы в темноте на что-то наскочили, что Ренато кого-то задавил. А потом меня охватил панический ужас от того, что мы можем заживо сгореть в машине.

А потом наступила темнота...

Я не помню первое ощущение после того, как пришла в сознание, но понимаю, что это тоже должен быть ужас, потому что я не могла пошевелиться. Вообще не могла.

Ренато все же заснул за рулем, и утром разбитый вдребезги красный «Фиат» обнаружил водитель проезжавшего по автострате грузовика. В машине без сознания лежал Ренато.

Вызвали полицию, потом «Скорую», его увезли в больницу. У парня оказались сломаны нога и кисть руки. Говорят, придя в сознание, он поинтересовался, как чувствую себя я.

Врачи удивились:

– В машине никого, кроме вас, не было.

Тогда Ренато объяснил, что в машине была пассажирка – певица Анна Герман.

Вернувшись на место, полицейские и медики даже не сразу смогли меня найти, от удара я оказалась выброшена через переднее стекло далеко в сторону. На мое счастье, я была без сознания, потому что не чувствовала ни невыносимой боли от 49 переломов, в том числе и позвоночника, ни холода, ни ужаса одиночества на пустой дороге...

У меня оказалась сильнейшая потеря крови. Теперь я вполне могу считать себя итальянкой, потому что большая часть крови, которая во мне есть, это кровь итальянцев, потому что моя собственная осталась в той самой канаве, где я пролежала почти до середины дня после

аварии. Юлиан Тувим однажды сказал, что национальность человека определяется не тем, какая кровь течет в его жилах, а тем, какую из этих жил удастся выпустить. Если так, то раньше я была полькой, а теперь итальянка.

Надежды на то, что находившаяся в коме пострадавшая из этой самой комы выйдет, не было никакой. Маме со Збышеком за один день оформили паспорта и визы в Италию, потому что официальное заключение гласило: «Состояние безнадежное».

Говорят, впервые я отреагировала на свет через семь дней, и даже попыталась что-то сказать. Но в действительности пришла в себя только через двенадцать дней. Но даже тогда жизнью это вряд ли можно назвать. Во-первых, я была полностью неподвижна, даже глазами пошевелить больно, а уж о любом другом движении не могло идти речи. Во-вторых, я с трудом узнала даже маму и Збышека, об остальном нечего и говорить.

То, как меня собирали по кускам и долго-долго помогали восстанавливать способность двигаться, я подробно описала в книге «Вернись в Сорренто?». Могу только добавить, что никакого света в конце туннеля или своего «возврата» я не видела, как и собственного тела, распростертого на земле или на операционном столе тоже. Возможно, просто потому, что положение было слишком тяжелым.

Но на том свете меня не приняли, отпустили попеть еще на этом.

Когда отключили искусственное дыхание и позволили дышать самой, впервые прозвучало:

– Жить будет.

И тут же добавление:

– Петь нет.

Тогда я не понимала, что значит петь, выныривая на краткие мгновения из объятий нечеловеческой боли в относительно сознательное состояние, не вспоминала, кто я, знала только одно: женщина, чье лицо склонилось надо мной, моя мама. Этого было достаточно, чтобы понимать, что я жива. И пока она держит в своих руках мою не очень пострадавшую правую руку (левая была абсолютно неподвижна), я не уйду в тот мир, я живу.

Словно чувствуя, как мне это нужно, мама держала. День и ночь, ночь и день. Я не знаю, как и когда она спала, когда ела и ела ли вообще, как она сама выжила эти пять месяцев, откуда взяла силы не просто быть рядом, но и выдерживать мои истерики.

Да, таковые были, я ведь не героиня, я обычный человек, у которого сознание, что велика вероятность в тридцать один год стать полным инвалидом, неподвижной, как называла мама, «сломанной куклой», не отвлеченное понятие, а кошмарная реальность, не могло не вызвать отчаянья.

Пять месяцев кошмара, не только и не столько из-за нечеловеческой боли, но и от отчаянья. Пролежни из-за неподвижного положения, атрофированные мышцы, кровавые рубцы от гипса, сдавление грудной клетки... «сломанной кукле» временами казалось, что избавление от всего этого кошмара одно – забыться вечным сном. Но мамины пальцы слегка сжимали мои, и я снова и снова выныривала из объятий отчаянья, цепляясь за жизнь.

Самой мучительной оказалась невозможность нормально дышать. У меня сами по себе легкие достаточного объема, к тому же разработаны вокальными упражнениями, а тут гипс, который стискивал грудную клетку настолько, что ни пить, ни есть, ни даже просто вдохнуть хотя бы в половину объема невозможно. Я задыхалась, начинала паниковать, метаться, особенно во сне, маме приходилось успокаивать и успокаивать меня.

Сны были только ужасными, мне снилось, что меня завалило в какой-то шахте или что я забралась в пещеру, лаз при этом сужался и сужался, а выбраться обратно возможности нет, но и пути вперед тоже, а стены лаза все сжимаются, и дышать уже невозможно.

Во время университетской практики мы бывали в настоящих шахтах и действительно добирались до своих мест ползком, я помню эту замкнутость черного пространства. Шахте-

рами могут быть только люди с очень крепкими нервами, очень выносливые и бесстрашные, потому что тысячи тонн породы и земли ощутимо давят даже там, где можно подняться в полный рост.

А еще я и впрямь занималась в секции спелеологии и лазила в пещеры и узкие, очень узкие для моего крупного тела, ходы.

Неудивительно, что этот опыт всплывал в моей памяти по ночам из-за невозможности дышать.

Закованная от ушей до пяток, я умоляла снять этот чертов гипс под мою ответственность, соглашаясь даже остаться кривобокой, нежели терпеть адовы муки. Пять месяцев быть мумией, не способной не только пошевелиться, не просто терпящей невыносимые боли, но еще и почти потерявшей память.

Врачи и медсестры убеждали меня потерпеть и лежать спокойно, чтобы нормально срослись кости и я смогла выйти на сцену в Сан-Ремо прямой и красивой, обещали болеть за меня у своих телевизоров, чтобы смогла победить певцов со всего мира... А я смотрела на них и не понимала, о чем идет речь. Я забыла, кто я!

По-моему, первой догадалась о моей потере памяти мама, но она не бросилась к врачам, а принялась бороться за мой разум своими методами. В палате зазвучали мои песни, мой голос. Честное слово, впервые услышав саму себя, я ничего не поняла, только что-то показалось до боли знакомым, нет, не голос – текст. Откуда-то я помнила эти слова...

– Вот снимут гипс... разработаешь свои легкие заново... снова будешь петь...

Слушая спокойный мамин голос, я начинала верить в то, что это когда-нибудь случится. Пределом моих чаяний тогда было вдохнуть полной грудью, просто подышать. О том, что я когда-то встану и пойду, вообще не думалось.

В тесном гипсе невозможно не только дышать, переведя меня на обычное питание, врачи обрекли меня на настоящий голод, потому что пара глотков молока, которые мама буквально закапывала мне в рот, казались пределом возможностей. Больше просто не проходило через мое закованное горло, а кашлять нельзя, как нельзя и все остальное – чихать, громко или долго разговаривать, дышать...

А вот жить можно, только как?!

Я все время пишу вот это «я страдала», «я мучилась», «я терпела»... Это неправильно, не меньше страдала, терпела и мучилась моя мама. Конечно, она не переносила (и слава Богу!) таких болей, как я, не мечтала сделать хоть один вольный вздох. Но неизвестно, что хуже – страдать самой или видеть, как мучается твой ребенок, и не иметь возможности помочь, облегчить его мучения. Когда у меня родился Збышек, я хотя бы частично осознала, что это такое – не иметь возможности помочь своему ребенку, даже если он уже не дитя.

Нет, Збышек-младший не болел, он спокойный и крепкий мальчик, но даже мучения малыша, когда у него резались зубки, доставляли нам со Збышеком-старшим массу страданий. Представляю, каково было маме, когда я умоляла избавить меня от невыносимых болей любой ценой, даже ценой кривобокости и уродства. Каково ей было понимать, что я действительно могу остаться калеккой навсегда, даже неподвижной калеккой, к тому же не помнящей, кто я и кто вокруг меня, как ей дались эти месяцы.

Должен существовать орден самоотверженных матерей, даже не матерей, а просто людей, которые помогли другим преодолеть вот такой ужас безнадежности. Да, в больницах очень заботились обо мне, помогали, но это еще и по долгу службы, а мама из материнского сострадания. Без нее я так и осталась бы лежать бревном в какой-нибудь клинике, пока не сгнила бы от пролежней.

А еще рядом был Збышек. Это безмерно радовало и... огорчало одновременно.

Когда я стала узнавать родных и понимать, кто вообще такая, именно Збышек часами проигрывал мне мои же записи, помогал заново учить тексты, вселяя надежду, что это пригодится.

Но само его присутствие создавало для меня проблемы. Я могла попросить маму о чем-то совершенно личном, о какой-то гигиенической процедуре, ведь сама была совершенно бездвигательна, а как попросишь Збышека поправить что-то под пролежнем? Даже просто смочить губы водой. Зачем я ему такая – инвалид, который если и встанет, но едва ли сможет жить нормальной жизнью?

Збышек еще молод, силен, красив, он толковый инженер, его ценят на работе, зачем ему рядом калека? Я понимала, что отказаться от меня тогда, когда я лежала неподвижно, сродни предательству, на которое Збышек не способен. Он честный, он верный, не бросит, будет всю жизнь возиться с калеккой, подавая воду и покупая лекарства, но я-то понимала, что это нечестно по отношению к нему, что самым своим тогдашним калечным существованием порчу Збышеку жизнь.

Постепенно крепло решение самой разорвать наши отношения, сказать Збышеку, что он свободен. Вот только вернемся в Польшу, и скажу, обязательно скажу.

Ни о каком возвращении «сломанной куклы» не могло быть и речи, сложенные кости должны срастись, прежде чем возможно хоть какое-то изменение положения, но мечта о возвращении домой даже в этом чертовом гипсе крепла с каждым днем.

Обо мне заботились в итальянских госпиталях (я успела полежать в трех), «сломанную куклу» действительно собрали из кусков, сложили в гипс, но для восстановления нужно было время, очень много времени. Постепенно, очень медленно восстанавливалась память. Я очень боялась кого-то обидеть, попросту не узнав, такое часто бывало, неудивительно, ведь сильнейшее сотрясение мозга и болевой шок еще никому не добавляли умственных способностей и не улучшали эту самую память.

Я стала вспоминать, но фрагментарно, отдельные события, отдельные слова, фразы, музыкальные отрывки. Сколько же сил и выдержки понадобилось маме, чтобы терпеливо соединять эти обрывки в единое целое, успокаивая и успокаивая меня. При этом она должна не перестараться, помогать мне, но не превращать в настоящую куклу, поддерживать, но не лишать самостоятельности (смешно говорить о самостоятельности человека, закованного в гипс от ушей до пяток), вселять уверенность, но не обнадеживать зря. И помогать, помогать, помогать.

Мама все смогла, она забыла о себе и жила только моими проблемами.

Я ничего не слышала о Ренато, даже не знаю, приходил ли он проводить меня, когда встал на ноги сам, я его не помню. Знаю одно: я поклялась больше никогда не приезжать в Италию, никогда! И всем сердцем стремилась обратно в Польшу, казалось, там и воздух другой, который сам по себе поможет мне.

О возвращении заговорила сразу, как только стала сознавать, кто я и что случилось.

Вела подобные разговоры с врачами и мама. Лечение стоило дорого, безумно дорого, было ясно, что мы сумеем законно получить с фирмы компенсацию, поскольку я пострадала не во время отдыха или по собственной неосмотрительности, а поневоле, но это потом, а сначала надо оплатить счета.

Мама откровенно сказала врачам, что у нас нет средств на длительное лечение, а в Польше меня будут лечить в государственной клинике.

Но как везти эту самую гипсовую куклу, если малейшее неосторожное движение могло вызвать болевой шок? И все-таки решено рискнуть. Я готовилась к перелету так, словно от него зависела сама жизнь, как к избавлению, как к празднику, хотя уже прекрасно понимала, сколько боли вынесу и сколько неудобств доставлю всем вокруг себя.

Салон первого класса самолета польской авиакомпании был переделан для одного-единственного полета. Нет, его не меняли конструктивно, просто сняли несколько кресел, чтобы удобно устроить гору гипса, внутри которой находилась я. «Пагарт» прислал в Болонью, откуда меня перевозили в Варшаву, врача, который должен мне помочь перенести тяжелый перелет. Помогали все, кто мог, экипаж самолета в шутку обещал огибать все воздушные ямы, чтобы не трясло.

Мне кажется, даже боль стала не такой невыносимой, как только шасси оторвались от бетона взлетной полосы в Италии. Я возвращалась домой, и неважно, что во мне почти вся кровь итальянская, что именно итальянские врачи сумели собрать меня заново (я им безмерно благодарна за это и за выхаживание, но больше испытывать их заботы на себе не хочу), что моя родина далеко-далеко в СССР, это действительно была дорога домой.

В Польше начался следующий этап, еще три клиники, каждая из которых вносила свою лепту в мое возвращение к жизни.

Я плакала и просила снять гипс хотя бы с грудной клетки, чтобы дышать легче, ведь все это время невыносимо страдала от настоящего кислородного голодания, хотя мне время от времени и прикрепляли к носу трубочку для дыхания. Казалось, мои легкие уже никогда не расправятся, не смогут работать даже не как у певицы, а просто как у обычных людей.

Пять месяцев гипса, страшные пролежни (отмирание неподвижной, сдавленной ткани), постоянно в одном положении, атрофировались мышцы, даже те, что не пострадали, казалось, еще немного и разучатся работать неподвижные суставы. Вот тогда я и впрямь превращусь в настоящую куклу.

Наконец, мне пошли навстречу, сняли гипс с грудной клетки, заковав левую часть и спину в более жесткую форму. Помню настоятельный совет:

– Только не пытайся вдохнуть полной грудью, у тебя отвыкло все – легкие, ребра, голова... Весь организм отвык получать воздуха вдоволь, не нагружай его сразу. Дыши по чуть-чуть, с каждым вдохом просто увеличивая объем.

Это может понять только тот, кто через такое прошел. У меня исчез жесткий панцирь на груди, свершилось то, о чем я столько времени мечтала, а я должна сама себя ограничивать в возможности дышать.

Каюсь, нарушила запрет, не послушала совет и... снова резкая боль (ребра-то сломаны), снова ужас, на сей раз от того, что в нехватке воздуха виноват не гипс, а внутренние переломы. Так и было, но в ту минуту мне показалось, что это навсегда, что я уже никогда не вдохну нормально.

Хорошо, что рядом мама, она, видно, догадалась о моей попытке, снова взяла за руку:

– Анечка, вспомни, что говорил доктор, дыши потихоньку, всему свое время. Гипс частично сняли – и то хорошо.

Возможно, она говорила вовсе не это, просто успокаивала, но один ее голос, прикосновение действовали благотворно.

– Збышек, нам нужно серьезно поговорить. Я безмерно благодарна тебе за поддержку, за то, что не оставил меня в такую трудную минуту, что помог даже просто вспомнить, кто я и что могу... могла раньше. Благодарна за то, что не оставил без помощи маму, ей бы одной со мной не справиться. Но теперь, когда я уже в Польше, ты свободен.

Неизвестно, что будет дальше, я могу остаться калекой навсегда, не смогу работать, буду обузой. Быть обузой для своей мамы – то одно, но мы с тобой даже не женаты, ты свободен. Ты замечательный, ты еще встретишь красивую и здоровую девушку, у вас будут дети, ты будешь счастлив.

Я понимаю, что сам ты меня не бросишь, считая это предательством, потому отпускаю тебя сама. Так я решила, Збышек, благодарю за все и давай останемся друзьями. Будешь навещать меня иногда, когда разрешат посещения....

Эту речь я мысленно репетировала десятки раз, лежа ночью без сна. Убеждала и убеждала Збышека, а по сути, себя, что он вовсе не обязан возиться с калеккой, что этим я ломаю ему жизнь, что Збышека нужно отпустить, нет, даже прогнать, сам он не уйдет.

Он честный, он настоящий, а потому будет считать себя обязанным возиться со мной всю оставшуюся жизнь. Но это будет означать, что жизни не будет у него самого. Ломать ему судьбу я просто не имею права. И то, что он мучается рядом со мной, не меньше физической боли мучает меня саму. Збышек достоин счастья, и он его должен обрести.

Тысячу раз я прокручивала эти слова в голове в разных вариантах, подбирая самые убедительные, так, чтобы не обидеть, но и внушить мысль, что его уход вовсе не предательство. Отрепетировала лучше, чем любое выступление.

И вот...

– Збышек...

Я говорила сбивчиво, все заготовленные фразы улетучились, речь получалась сумбурной, но главное я до Збышека все же донесла: я отпускаю его с великой благодарностью. Он вовсе не обязан гробить свою жизнь на калекку, которая неизвестно встанет или нет, должен встретить свое счастье и остаться мне просто другом.

Он выслушал все спокойно, от этого спокойствия меня охватил ужас, неужели Збышек и сам пришел к такому же решению?! Неужели он все обдумал и просто не знал, как мне сказать?

– Аня...

Дальше говорил он. Также спокойно, словно тоже давно все обдумал и для себя решил. Я не помню слов, да едва вообще их понимала, зато поняла смысл: он не надеялся делить со мной только радость, и в трудные дни рядом не потому, что считает себя обязанным делать это, а потому, что очень хочет вытащить меня обратно в нормальную жизнь, а еще... надеется, что у нас будут дети...

– И больше не смей вести подобные разговоры. Будем считать, что тебя на это вынудила боль, а вовсе не желание от меня отвязаться.

Я задохнулась и без гипса. Збигнев тоже для себя все твердо решил, но совсем иначе, чем решила за него я. Збышек решил вытащить меня в нормальную жизнь!

Слезы градом катились из моих глаз...

– Эй, гипс размочишь. Аня, ты главное, что у меня есть. Как я могу оставить это главное валяться в гипсе? Все будет хорошо, может, не сразу и не так легко, как хотелось бы, но будет. Между прочим, тебе тут куча новых телеграмм и писем.

Телеграммы и письма действительно приходили со всех уголков Земли, очень много писали из СССР. Все желали скорейшего выздоровления, уверяли, что я со всем справлюсь, что нынешние врачи совершают чудеса, что я еще выйду на сцену и буду петь.

Господи, знали бы, как мне самой этого хотелось.

Когда произошел тот перелом, после которого я начала думать не о возможности просто вздохнуть или пошевелить рукой, а действительно выйти на сцену? Не знаю, не помню, да это и неважно. Вся левая сторона не работала – плечо, локоть, кисть руки, тазобедренный сустав, колено, стопа – все было не моим. Ладно бы просто не слушалось, так ведь нужно, чтобы срослись кости, чтобы окрепли суставы, потому что сначала их невозможно нагружать.

А потом, когда все наконец срастается, оказывается, что мышцы и суставы «забыли» как работать, а сдавленные ткани попросту отмерли.

Ко мне пришел новый врач, долго осматривал левое плечо, вернее, руку у плечевого сустава, сокрушенно качал головой. Мне не было сказано ничего, мол, очередной пролежень, но я услышала обрывки фраз, когда лежала с закрытыми глазами, делая вид, что сплю. Опухоль... может перерасти... саркома...

Хорошо, что тогда я понятия не имела, что такое саркома. Или плохо, потому что потребовала бы вырезать проклятую вместе с половиной руки, вырезать, пока она мала, пока с ней можно справиться.

Но анализы показали, что опухоль не злокачественная, и ее оставили в покое, вернее, вырезали, но не под корень. А зря, потому что доброкачественные имеют нехорошее свойство, затихнув, потом превращаться в злокачественные. Эта зараза словно ждет, когда человек и его врачи потеряют бдительность, чтобы начать новую атаку.

Моя начала через десять лет и во второй раз оказалась сильнее любых усилий медиков. Тогда с ней можно было справиться, теперь – нет, хотя врачи бодро утверждают, что смогут и все снова будет хорошо.

Но тогда, ободренная снятием гипса и возможностью хотя бы дышать, я мечтала о возвращении к почти нормальной жизни как можно скорей. Врачи убеждали не спешить, уверяли, что самое главное для моих переломанных костей – спокойствие и неподвижность. Однако слишком долгая неподвижность могла привести к отмиранию мышечной ткани.

И как только стало возможно, началась разработка мышц и суставов. Мое тело начали приучать к вертикальному положению. Это вовсе не попытки поставить на ноги и отойти с готовностью броситься на помощь, если начну падать. Нет, существует такое немыслимое приспособление – стол, на котором пациента закрепляют ремнями и все приспособление начинают переводить в вертикальное положение. Снова адская боль, потому что ломаные кости не желают принимать вертикальную нагрузку.

А левая нога на вытяжке, иначе нельзя, здоровенная гиря держит ее в одном, очень неудобном для меня, положении. Хорошо, что вытяжка длилась всего по несколько часов, а не круглые сутки, потому что лежать вниз лицом без возможности даже повернуть голову вообще невыносимо.

Я вовсе не жалею, не стараюсь выглядеть героиней. Если кто и герой, так это те, кто был рядом со мной все эти месяцы, прежде всего мама и Збышек, итальянские и польские врачи и медсестры, нянечки, просто хорошие люди, мои друзья, которые постоянно приходили навещать, как только им это позволили, те, кто писал письма, присылал свои советы, пожелания...

Мое искалеченное тело без их помощи ни за что не вернулось бы к жизни.

Я прошла через это единожды (и больше не желаю!), а те, кто помогает вот таким покалеченным, видят страдания каждый день. Я часто думала о том, каким надо обладать запасом сердечности и стойкости одновременно, чтобы, видя мучения пациента, понимая, что он испытывает сильнейшую боль, требовать от него усилий, иногда запредельных.

Как я благодарна тем, кто не делал послаблений, кто не жалел показной жалостью, а старался помочь стать нормальной, ну, почти нормальной.

Слезы из глаз градом, на лбу пот, но доктор качает головой:

– Еще раз, пани Анна. И не отлынивайте.

Слезы у человека бывают разные. Можно плакать от обиды даже на несправедливую судьбу, плакать от жалости к себе, из каприза, отчаянья, а можно от боли. Есть слезы, которые просто не сдержат, они брызжут из глаз, потому что малейшее движение причиняет невыносимую боль. Вот таких я не стеснялась, а еще не стеснялась слез облегчения, когда что-то удавалось, несмотря ни на какие терзания, я плакала счастливо. И врач делал вид, что не замечает этих слез.

Меня «отпустили» домой всего на десять дней. Обещала вернуться и не вернулась, думаю, врачи понимали, что так и будет, просто наступает время, когда пребывание в больнице идет уже во вред больному. А не на пользу. Наверное, у каждого есть такой срок (желаю никому и никогда не выяснять его продолжительность).

«Отпустили» явное преувеличение, потому что это снова были носилки и неподвижность, просто делать физические упражнения я должна была дома под присмотром приходящих ежедневно врачей и Збышека. Мама просто не могла смотреть, как я обливаюсь потом и слезами, заставляя свои мышцы работать, а вот Збышек наоборот, он деловито приглядывался, словно рассчитывая запас прочности моих костей и мышц, прикидывал, что еще нужно «подкрутить», чтобы кукла смогла двигаться полноценно. Это было смешно и одновременно заставляло стойко терпеть боль.

Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто я героиня, победившая боль и неподвижность. Если что-то и нужно вынести из этого сумбурного рассказа, так это уверенность, что такое возможно, что можно одолеть сорок девять серьезных переломов, что врачи способны собрать кости пациента из кусков и помочь буквально встать на ноги. Только для этого сам пострадавший должен очень-очень хотеть встать.

В моем возвращении к жизни только половина заслуг мои, даже меньшая половина, большая – тех, кто меня «собирал», скреплял, выхаживал и заставлял не бросать начатое посередине.

Если рядом с вами оказался человек в таком кошмарном или просто тяжелом положении, не оставляйте его наедине с мрачными мыслями, не позволяйте себя жалеть, сдаться, отступить, помогите сделать все возможное и даже невозможное, что способно вернуть человека к обычной жизни. Может, именно ваше единственное слово окажется тем самым решающим, что поможет ему.

Меня, кроме моих собственных усилий, вернула к жизни поддержка мамы, Збышека, медиков и тех, кто присылал письма и телеграммы.

И очень хорошо, что те, кто был рядом со мной, не произносили пафосных слов о моем героизме, о том, что я живой пример для других, они просто и буднично говорили: «Ты сможешь, а значит, должна» – и протягивали руку помощи.

Не знаю, что там думал Збышек, но он вел себя просто идеально – не замечал назревающих истерик, не обращал внимания на слезы, но при этом был очень внимательным и настойчивым. Мама жалела, помогала, поддерживала и морально, и физически, Збышек просто «брал за руку» и вел вперед через весь кошмар, словно так и нужно, словно ничего страшного в моей калечности нет, это надо пережить, перебороть.

Вот это замечательно, потому что иногда от отчаянья хотелось даже не плакать, а выть, зарывшись лицом в подушку. И я выла, пока мама гладила меня по голове. Как маленькую. Но приходили Збышек или врач, и все вытье прекращалось.

– Не жалейте себя, пани Анна. Если хотите снова ходить и петать, то не жалейте.

– Я смогу петать?!

У молодого доктора изумленный вид:

– А что, врач-отоларинголог сказал, что повреждены связки?

– Нет... Связки не пострадали вообще.

– Тогда в чем дело? Ах, в этом? – кивок на груз вытягивания. – Так это временно, срastутся же когда-нибудь ваши кости. И мышцы разрабатываются. Как скоро – зависит от вас. Торопить нельзя, но и жалеть себя тоже.

Я буду петать! Как хотелось просто выйти на сцену! Любую, пусть самую маленькую, пусть даже без зрителей и спетать...

Когда сняли гипс, изменилось мало что, ведь двигаться я все равно не могла. Но сознание, что на мне нет этой чертовой тяжести, что я просто лежащая больная, но не загипсованная, уже радовало.

Быть дома, пусть не в своей личной квартире, но там, где пахнет жильем, а не лекарствами, – это счастье. Тогда мне казалось, что я пропахла лекарствами на всю оставшуюся жизнь, что этот запах уже никогда не выветрится из моих коротко остриженных волос, из моей кожи...

Я представляла собой малоприятное зрелище – тощая, серая, с бесконечными синяками и рубцами от гипса, с множеством шрамов из-за операций, я словно состарилась на десять лет. Но я жила и уже могла двигаться. Пусть ограниченно, пусть всего лишь шевелиться, но уже могла! И я дома, это тоже счастье.

А еще счастье в том, что даже для лежащей больной нашлось занятие. Это тоже очень важно, когда человек ограничен невозможностью встать с постели, ограничен во всем, он не должен чувствовать себя куклой и обузой, у него должно быть какое-то дело.

У меня было даже несколько, правая рука, к счастью, действовала, это позволило писать письма многочисленным корреспондентам. Проблема, потому что обессиленный организм не мог совершать такие «подвиги» подолгу, к тому же писать, уткнувшись носом в подушку, пока лежишь на вытяжке, тоже не слишком удавалось, я рисковала вернуть косоглазие, чего вовсе не хотелось, как и свернуть вдобавок к уже имеющимся проблемам шею.

Выход подсказал знакомый журналист:

– Напиши книгу, ответишь сразу всем.

Я обрадовалась, это занятие, к тому же сочинять я всегда любила. Пару дней находилась в состоянии эйфории, потом прочитала написанное и ужаснулась. Слезливое перечисление собственных бед и страданий. Да, конечно, без этого не обойтись, ведь я писала о трагедии, о том, каково это – на взлете вдруг сорваться в пике и упасть лицом вниз. Как трудно подниматься, как больно, как жалко себя...

Нет, так не годилось, мне вовсе не хотелось, чтобы меня жалели те, кто эту книгу прочитает. Для сочувствия достаточно просто назвать количество переломов – 49, каждый, кто сам что-то ломал или оказывался рядом с переломанным человеком, способен понять, каково это. Ни к чему дальше взывать к жалости.

Я не хотела, чтобы книгу читали вот так же – из жалости, чтобы списывали плохой текст на мое состояние, но главное – я хотела, чтобы мой пример научил вставать с колен, а не выражать сочувствие. Сочувствие бывает разным – жалостливым и действенным. Хочу, чтобы все, в том числе и мой маленький Збышек, поняли: жалостливое сочувствие не способно помочь. Иногда человеку очень нужно, чтобы его просто пожалели, погладили по головке, но только иногда и недолго. Чаще всего он если и нуждается в сочувствии, то в действенном.

Именно за такое сочувствие я благодарна Збышеку, он не плакал вместе со мной, зато натянул веревки по всей крошечной квартирке, чтобы я, когда уже встала на ноги, могла держаться для страховки. Притащил из проката пианино и поставил его в большей комнате вовсе не потому, что там места больше, а в качестве стимула:

– Когда будешь ходить, дойдешь сама.

Принес телевизор, чтобы я не отставала от жизни, то и дело раздобывал пластинки популярных певцов, особенно польских. Приносил газеты.

А еще заставлял держать открытым окно, укрывая меня саму одеялом, чтобы не простыла:

– Тебе нужен свежий воздух, пока не выходишь на улицу, дыши хоть так.

Вот это то, что я называю действенным сочувствием, оно куда нужней простой жалости.

Если мама пример материнской самоотверженности, то Збышек образец поведения с теми, кому нужна помощь в восстановлении, преодолении себя. Почему-то с ним самые болез-

ненные упражнения давались легче, это видели и врачи, потому часто обращались именно к нему, если предстояло что-то тяжелое.

Я написала книгу «Вернись в Сорренто?», тираж разошелся очень быстро. Кроме того, начала писать музыку сама. Это получилось тоже нечаянно. Просто мне предложили (в качестве поддержки) свои стихи двое замечательных людей. Вообще, за время своей болезни я убедилась, что замечательных людей вокруг столько, что места для незамечательных просто не остается, следовательно, они не существуют. А те, кто себя считает незамечательным (или таковым его считают остальные), просто не нашел себя в этом мире.

Леонид Телига прислал мне свои стихи еще из кругосветки. Телига удивительный, он совершил свое кругосветное плавание в одиночку, когда я боролась за жизнь и со своими непослушными мышцами в больнице, Телига боролся с океанскими волнами и с недугом. Сейчас уже известно, что эта борьба закончилась не в его пользу. Океан он одолел, а вот болезнь (рак) и власть чиновников (ему неизвестно по каким причинам долго не разрешали проход по Панамскому каналу, притом что он член Панамского яхт-клуба, а потом так и не разрешили заход в воды Австралии) – нет.

Как мне знакомы его проблемы и как меня поддерживала сама мысль, что мои песни ценит такой человек. Леонид Телига – герой Польши, когда он после нескольких операций, когда судьба то дарила надежду, то снова отнимала ее, все же проиграл эту битву за жизнь, его провожала вся Польша.

Мне Телига прислал стихотворение «Парус», на которое я написала песню. Читать его письма было волнительно и тяжело одновременно, перечитывать просто тяжело. Знать, что такой человек не смог победить страшный недуг, больно.

Еще стихи, не очень умелые, но от души, принесла мамина знакомая – учительница Алины Новак. Меня поразило название – «Человеческая судьба», а потом я оказалась потрясена основой этого цикла. Алина использовала отчет акушерки, узницы Освенцима, пани Станиславы Лещинской, которая рассказала, как топили в бочонке с водой всех родившихся в лагере детишек и выбрасывали их тельца на мороз на съедение крысам.

Я не смогла остаться равнодушной и написала музыку к «Человеческой судьбе», нет, в стихах Новак вовсе не было рассказов об утопленных детишках или крысах, напротив, она пыталась доказать, что ни при каких условиях человек не должен опускаться и терять веру в лучшее.

«Улыбайся.
Улыбайся каждой минуте,
Не жди счастливых дней...
Улыбка... даст крылья мечте, а воспоминаниям красоту,
Поможет усталому преодолеть препятствия...».

Разве я могла не откликнуться на такие стихи? Родился цикл «Человеческая судьба», его еще называли «Освенцимской ораторией».

А улыбка стала моей визитной карточкой.

Много-много раз с тех пор она спасала меня, однажды я услышала рассуждения, что просто прикрываюсь улыбкой, заслоняюсь ею. Немного не так, скорее спасаюсь, а если и прикрываюсь, то вовсе не из желания отгородиться, просто остальным ни к чему знать, как мне больно и плохо, как трудно, а иногда просто невозможно двигаться, делать какие-то движения. К чему зрителям, которые пришли послушать мои песни, знать, что у меня невыносимо болит спина

или нога, что плохо действует рука, что кружится голова. Это моя боль, я вовсе не желаю, чтобы она стала всеобщей.

Слышала и еще одно «пожелание»:

– Пани Анна, ваша трагедия – лучшая реклама. Вы сможете долго рассказывать о том, что пережили, вас будут слушать. И песни после этого воспримут любые.

Вот этого я всегда хотела меньше всего – чтобы моя трагедия стала моей рекламой, чтобы на концерты ходили «из интереса», посмотреть, не кривобока ли Анна Герман, не стала ли заикой и действуют ли у меня руки-ноги.

Я не музейный экспонат, даже после своей смерти чучелом в каком-нибудь «музее героев» быть не хочу. Да, то, что я пережила, за гранью возможного, восстановление за гранью реального, возвращение на сцену невыносимо, но это не героизм, это просто желание жить и петь!

Однажды у меня брали интервью и тоже не очень удачно попросили «настоящую героиню посоветовать читателям, как им преодолеть себя, если в этом возникает необходимость». Я демонстративно оглянулась.

– Что, пани Анна, кого вы ищете?

– Эту самую героиню.

Журналистка натянуто рассмеялась, решив, что я просто поднимаю себе цену. Пришлось объяснять:

– Я не героиня, я просто человек, который хочет жить нормальной жизнью, а не лежать бревном и ныть. Просто сделала все, что было возможно, и мои усилия, сложившись с усилиями врачей и моих родных, дали отличный результат. И еще, себя не надо преодолевать, нужно просто понять, чего же ты хочешь, и помочь себе этого добиться. А физические ли это будут усилия или нравственные, не всегда важно.

Почему-то мне показалось, что журналистка не поняла, о чем я говорю, во всяком случае, я этой цитаты в ее статье не увидела. А жаль, потому что я действительно считаю, что человек не должен ломать себя через колено и даже заставлять не должен. Если разумный человек понимает необходимость даже очень тяжелой боли и уверен, что, перетерпев ее, «заработает» желаемое, он сумеет справиться.

Просто я знала, что вот еще это упражнение даже через слезы на глазах поможет хоть чуть оживить руку или ногу, что если я пересилю боль и сделаю этот шаг, то следующий будет делать легче, что от меня самой зависит то, буду ли я хлопающей глазами колодой или просто живой, выйду ли на сцену, а потому делала все, чтобы это случилось.

Боль можно вытерпеть почти любую, если ты знаешь зачем, веришь, что поможет.

Это не героизм, это жизнь.

Вот почему авария разделила мою жизнь надвое, просто до нее я не задумывалась над многим, многое и многих не ценила. Только когда побываешь на краю, понимаешь, как хороша жизнь и что именно в ней ценно больше всего.

Об этом писал и Леонид Телига: нужно учиться ценить каждое мгновение данной нам жизни, получать удовольствие от каждой минутной радости, а не ныть из-за чего-то плохого, что, возможно, случится в будущем или уже случилось, но не может быть изменено. Жить стоит настоящим, не забывая о прошлом и надеясь на будущее.

Как вовремя мне пришло его письмо, как помогли его советы. Тогда он еще не знал, сумеет ли преодолеть тысячи километров, не знал, что смертельно болен (самую трудную часть пути Телига прошел с температурой 39,5 градуса), не знал, что его собственные дни сочтены. Знал одно: он представляет Польшу перед всем миром, а потому, если вызвался совершить кругосветное путешествие в одиночку, значит, должен это сделать с любой температурой.

Я представляла только сама себя, но тоже знала, что должна встать, несмотря на любую боль, и выйти на сцену, несмотря на любые трудности.

У меня спрашивали (журналисты бывают удивительно нетактичны в поисках сенсаций, но я прощаю, потому что это их хлеб), стала бы я столь успешной, не будь той трагедии, и чему она меня научила.

– Успешной я была и до нее. А вот другой в результате стала. Любая трагедия не может не повлиять на характер человека, просто кого-то делает мрачным и нелюдимым, а кому-то, как мне, открывает ценность жизни и множество замечательных людей.

А научила моя беда меня прежде всего не сдаваться, даже если гипс от ушей до пяток, не опускать руки, даже если те не шевелятся без посторонней помощи, верить в возможность изменения к лучшему, даже если нет никаких предпосылок и врачи говорят, что состояние безнадежное. Но главное: научила ценить саму жизнь, каждую ее минуточку.

Пусть звучит пафосно, но это так.

Об аварии и преодолении ее последствий можно говорить бесконечно, но не стоит тратить на это драгоценное время, которого у меня осталось слишком мало.

Певица Анна Герман. Трудный нетрудный выбор

Я все время твержу, что авария поделила мою жизнь на «до» и «после».

Конечно, было еще «во время», когда пришлось провести пять месяцев в гипсе, потом почти полгода неподвижно и много месяцев восстанавливать обыкновенные движения, которые человек осваивает в младенческом возрасте. Я училась двигать рукой, сгибать ногу, садиться на постели, вставать, очень долго и тяжело заново училась ходить, играть на пианино, даже просто стоять на сцене.

Мучительный, долгий период, ни забыть, ни просто не вспоминать который я не смогу никогда, потому что и сейчас страшно боюсь споткнуться, упасть и что-то снова сломать, особенно позвоночник.

– Пани Анна, сумели ли вы выбросить из головы воспоминания о тех годах восстановления?

Нет, не сумела и никогда не смогу, даже если вопреки всему проживу еще какое-то время после нынешних безнадежных операций.

Но ведь в моей жизни была не только авария, я не могу ее забыть, но не желаю ею жить! Помнить и жить этой болью не одно и то же, если бы я завязла только на воспоминаниях о преодолении удара судьбы, я перестала бы жить давным-давно.

Но я живу, у меня есть два Збышека – большой и маленький, у меня есть голос, который и до аварии, и после нее помогал мне быть счастливой.

Когда я выхожу на сцену, хочется раскинуть руки широко-широко и... обнять сидящих в зале зрителей. Словно мои объятия способны защитить их, укрыть от чего-то недоброго, словно я способна спасти от какой-то беды. Это не просто самонадеянно, ведь я получаю от зрителей заряд энергии куда больший, чем отдаю, во всяком случае, мне кажется так. Но происходит что-то волшебное, этот импульс от меня к зрительному залу, обратно и снова к зрителям усиливается и усиливается и становится таким, что нам с ними не страшно никакое зло, мы защищены общей силой, сила эта – любовь и доброта.

И у микрофона на записи песни я чувствую нечто похожее. Я пою, и мой голос уносится куда-то, чтобы отразиться и вернуться, даже если в студии звуконепроницаемые стены.

Меня часто спрашивали, как я пришла на эстраду. Я отвечала честно: почти случайно.

Наверное, редким счастливым с молодых лет ясно, кем они хотят быть в жизни. Большинство детей перебирают массу профессий, желая сегодня быть пожарным, завтра дворником, послезавтра кондуктором... а становятся учителями, врачами, инженерами, ткачами, пивоварами... иногда действительно пожарными или дворниками.

Я очень рада, что у Збышека есть такой устойчивый интерес к технике, особенно к паровозам, к истории их создания. Если это его, то пусть занимается всю жизнь, даже если увлечение не принесет больших денег. Слава Богу, не все в нашей жизни измеряется деньгами. Хотя, надо признать, очень многое.

Мне с детских лет очень нравилась музыка, впервые услышав игру профессионального пианиста, я «заболела» желанием научиться играть, но откуда у мамы деньги на пианино, если и на хлеб-то едва хватало. Я ходила заниматься к учительнице, которая сказала, что у меня есть слух и способности, но война перечеркнула даже эти скромные надежды.

Кем быть?

Вопрос для настоящей каланчи, какой я стала уже в школе, непраздный.

О сцене и не мечталось, я не желала, как многие девочки, стать кинозвездой, прекрасно понимая, что той, которая на голову выше не только одноклассниц, но и одноклассников, сцены

или съемочной площадки кино не видать. С этим следовало мириться, тем более мой правый глаз долго косил.

Сколько я в школе вытерпела насмешек! Беззлобных, но таких жестоких. Косящая, высокая, по-детски нескладная, одни углы... Какая уж тут привлекательность. Но я смотрю на снимки тех лет и вижу девочку вовсе не потерянную, не забитую, напротив, открытую миру и всему хорошему. Наверное, это заслуга мамы и бабушки, они сумели показать мне, что в жизни слишком много хорошего и интересного, чтобы страдать из-за того, что нельзя исправить.

И я смеялась, когда мальчишки интересовались, намерена ли я работать пожарной каланчой:

– Подпрыгни, чтобы увидеть то, что вижу я.

В конце концов задевать меня просто перестали.

Но вопрос, кем быть, остался.

Как мама, учительницей? Мне нравилось возиться с малышами, придумывать для них занятия... Однажды пришлось «поработать» Снегурочкой, просто на новогоднем празднике у мамы в школе Дед Мороз остался без своей приболевшей напарницы. Не пропадать же празднику? Мама предложила в Снегурочки меня, и я половину утренника развлекала малышей пением песенок. Им очень понравилось, мне тоже.

Но потом я поняла, что понравилось мне петь, играть роль Снегурочки, а вот каждый день независимо от настроения, от состояния учить детей чему-то – это совсем иное, это я не смогу. Нет, учительский труд не для меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.